

МЕРГЕЛЬБУРГ

СЕРДЦЕ ВАН ХЕЛТЕНА



ЧУЙКО
Максим Алексеевич

2026

Максим Чуйко

Мергельбург: Сердце ван Хелтена

«Автор»

2026

Чуйко М. А.

Мергельбург: Сердце ван Хелтена / М. А. Чуйко — «Автор»,
2026

«Мергельбург: Сердце ван Хелтена» – первый роман цикла о Говарде ван Хелтене, его взрослении, выборах и людях, которые оставят след в его судьбе. Мергельбург, 1987 год. Провинциальный город, где по вечерам зажигаются витрины, в закусочных шумно, а из машин доносится музыка. Молодежь живет от выходных до выходных, но для Говарда ван Хелтена все меняется в один момент. Юноша видит людей насквозь, но боится показать себя. Все меняется, когда в его жизни появляется девушка, ради которой он впервые готов нарушить собственные правила. Но чем сильнее он пытается все просчитать, тем быстрее ускользает то, что он боится потерять. Это история о том, как страх потерять разрушает сильнее, чем сама потеря. Но, может быть, не все еще решено.

© Чуйко М. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
ГЛАВА 1	11
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Максим Чуйко

Мергельбург: Сердце ван Хелтена

ПРОЛОГ

**Чем больше мы пытаемся все контролировать, тем сильнее
реальность ускользает из рук**
Зигмунд Фрейд

Человеку от природы свойственно желание контролировать все вокруг – даже то, что контролю не поддается. Он строит планы, чертит маршруты, раскладывает будущее по полочкам, будто жизнь – это механизм с понятными шестеренками, где стоит лишь подкрутить одну деталь, и все пойдет как надо. Но жизнь не механизм. Она – река, быстрая, мутная, непредсказуемая, и попытки удержать ее в ладонях всегда заканчиваются одинаково: вода просачивается сквозь пальцы, оставляя лишь холодную влагу и горькое чувство бессилия.

Именно об этом думал Говард, стоя у окна в тот промозглый осенний день. За стеклом Мергельбург казался городом, забытым временем и погодой. Серые фасады домов, будто выцветшие от бесконечного дождя, нависали над узкими улицами, а мокрые булыжники мостовой отражали тусклый свет фонарей, словно осколки разбитого зеркала. Дождь не лил – он стекал по стеклам тягучими, неторопливыми слезами, размывая очертания мира до неясных силуэтов. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом сырости, остывшего дыма и чего-то неуловимо печального – будто сам город скорбел о чем-то давно ушедшем.

Комната дышала эпохой, которую хозяева не стремились вытеснить современностью, а, напротив, бережно сохраняли. Это был не музей, но и не обычное жилье: здесь стиль девятнадцатого века не выглядел нарочитым – он был образом жизни. Высокие потолки с лепниной, тяжелые портьеры из темно-зеленого бархата, приглушавшие уличный шум и свет, и деревянная мебель с тонкой резьбой, местами потемневшей от времени, но отполированной до мягкого блеска, создавали ощущение надежности, почти вечности. Книжные шкафы из темного дуба, уставленные томами в кожаных переплетах, занимали почти всю стену; между ними висели старинные гравюры и пожелтевшие карты, будто напоминавшие, что мир куда больше одной комнаты и одного города. На массивном письменном столе с бронзовыми накладками лежал раскрытый атлас, рядом – медная чернильница и перо, хотя давно уже никто не писал чернилами. В углу тихо тикали напольные часы, их мерный стук был не навязчивым, а успокаивающим, как пульс старого дома.

В воздухе витал запах не только сырости с улицы, но и чего-то домашнего: воска, которым натирали полы, старой бумаги и крепкого кофе. Говард обхватил пальцами горячую чашку, но тепло не проникало внутрь – холод, казалось, поселился где-то глубже кожи, в самой груди. Он смотрел, как капли сползают по стеклу, и чувствовал, как внутри нарастает знакомое, почти привычное напряжение: желание все исправить, все предусмотреть, все удержать.

Семнадцатилетний Говард выглядел так, словно пытался казаться старше и серьезнее, чем был на самом деле. На нем была темно-синяя рубашка из плотной ткани, с аккуратно застегнутыми пуговицами до самого верха – будто он хотел спрятать в ней свою уязвимость. Рукава он закатал до локтей, и это единственное проявление небрежности выдавало его внутреннее беспокойство. Брюки из тонкой шерсти, темно-серые, сидели идеально – видимо, куплены недавно и, скорее всего, по настоянию отца: в них было слишком «взросло» для

подростка, но Говарду хотелось выглядеть человеком, с которым считаются. В его осанке чувствовалась напряженность, будто он все время был готов к спору или к защите своей правоты.

– Ты опять строишь планы, – раздался за спиной тихий голос отца.

Говард не обернулся. Он знал этот голос, знал интонацию – в ней не было упрека, лишь мягкая, почти усталая забота.

Виктор ван Хелтен, отец Говарда, в свои почти шестьдесят выглядел человеком, который прожил много, но не растратил ни ума, ни достоинства. Он был доктором филологических наук, профессором, и в его облике читалась эта академическая собранность, не переходящая в сухость. На нем был старый твидовый пиджак, местами вытертый, но аккуратно заштопанный – вещь, которую он носил столько лет, что она уже казалась частью его самого. Под пиджаком виднелась вязаная жилетка темно-коричневого цвета, а на шее – тонкий шерстяной шарф, небрежно, но со вкусом наброшенный. Его седые волосы были коротко подстрижены, а в глубоких морщинах у глаз пряталась привычка улыбаться, даже когда говорить приходилось о серьезном. В руках он держал потрепанный томик Канта, будто собирался читать, но отложил, чтобы поговорить.

Отец подошел ближе, остановился рядом, тоже уставился в дождливую мглу.

– Не планы, – тихо ответил Говард, не отрывая взгляда от окна. – А... страховку. Если я все продумаю, ничего плохого не случится.

Отец хмыкнул – не насмешливо, а скорее с грустной иронией.

– Страховка от жизни? – он помолчал, глядя, как дождь рисует на стекле свои бессвязные узоры. – Знаешь, когда ты был маленьким, мы пускали по ручью бумажные кораблики. Помнишь?

Говард едва заметно кивнул.

– Ты так старательно их складывал – каждый уголок должен был быть ровным, каждый сгиб идеальным. Ты думал, что если кораблик будет правильным, он не утонет. А потом течение подхватывало его, кружило, иногда переворачивало, и ты злился. Ты хотел, чтобы он плыл туда, куда ты задумал.

– Я хотел, чтобы он не разбился, – тихо поправил Говард.

– Да, – мягко согласился отец. – Ты хотел защитить его. Но река не слушает наших желаний. И знаешь, что я тебе тогда сказал?

Говард наконец повернулся. Лицо отца было спокойным, но в глазах читалась та самая мудрость, которая приходит не из книг, а из прожитых лет – и из боли, которую человек научился принимать.

– Что течение – не истина, – почти шепотом произнес Говард, словно пробуя слова на вкус.

– Именно, – кивнул отец. – Плыть по течению – это не значит сдаться. Это значит признать, что ты не можешь управлять рекой. Но не принимать течение за истину – вот что важно. Течение просто несет. Оно не знает, куда тебе нужно. Оно не решает, что для тебя правильно.

Говард снова посмотрел в окно. Дождь все так же стекал по стеклу, город все так же тонул в сером сумраке, но теперь казалось, что в этом есть не только печаль, но и какая-то странная, суровая красота – красота неприрученной реальности.

– Иногда мне кажется, что если я не буду все контролировать, все развалится, – признался он, и в этих словах прозвучала не бравада, а искренняя, почти детская тревога.

Отец положил руку ему на плечо – легкая, но твердая, как якорь в шторм.

– Развалится то, что должно развалиться, – спокойно сказал он. – А ты останешься. И будешь строить заново. Не потому, что все просчитал, а потому, что ты умеешь подниматься. Но не пытайся сделать течение своим компасом. Оно унесет тебя не туда.

Говард глубоко вздохнул, и вместе с этим вздохом из груди будто вышло немного того напряжения, что копилось неделями. Он снова посмотрел на дождь, на размытые огни, на

город, который жил своей жизнью, не спрашивая ни у кого разрешения. И впервые за долгое время позволил себе не пытаться все удержать.

Пусть река течет. Пусть бумажный кораблик плывет, куда хочет. Главное – не путать его путь со своей правдой.

Виктор присел в глубокое кресло, стоявшее в углу комнаты напротив окна. С тихим, привычным скрипом дерево приняло его вес – кресло было старым, но надежным, как все в этом доме. Он щелкнул выключателем настольной лампы с желтым матовым абажуром, и комната сразу стала теснее, уютнее, будто сузила мир до одного теплого круга света. Тени легли на резные узоры шкафов, позолота на корешках книг мягко вспыхнула и тут же приглушенно померкла.

Достав из футляра очки в тонкой оправе, Виктор неторопливо надел их, привычным движением поправил дужку. Потом открыл книгу – тот самый потрепанный том Канта, – нашел страницу, на которой ранее остановился. На секунду замер, будто прислушиваясь не к словам, а к чему-то за ними, к тишине между строками. Его пальцы, чуть дрожащие от возраста, но все еще твердые, начали медленно поглаживать короткую седую бороду и усы – старая привычка, выдававшая внутреннюю сосредоточенность. Он задумался, но точно не над концепцией категорического императива.

Голубые глаза, когда-то яркие, а теперь чуть выцветшие от прожитых лет, но по-прежнему живые, поднялись и остановились на сыне. В этом взгляде было сразу столько: и отцовская забота, и усталость от попыток угадать чужие мысли, и тихое, упрямое желание все-таки понять. В них читалось родительское беспокойство – не истеричное, не кричащее, а глубокое, терпеливое, будто он заранее принимал на себя часть той тяжести, что давила на Говарда.

Виктор закрыл книгу, аккуратно, без раздражения, словно извиняясь перед ней за прерванное чтение, и отложил ее на низкий резной столик, где уже лежали несколько исписанных карандашом листков, серебряная ручка и маленькая бронзовая фигурка совы – подарок Элизабет на годовщину.

Он знал: мысли о «контроле» не возникают на пустом месте. Говард рос в семье филолога Виктора и психолога Элизабет ван Хелтенов, и это наложило на него особый отпечаток. С детства он не просто замечал эмоции – он их считывал, как текст, разбирал на смыслы, сопоставлял интонации и взгляды, искал подтекст в каждом слове. Он чувствовал мир тоньше, чем большинство сверстников, и эта чувствительность была одновременно даром и проклятием: она позволяла видеть скрытые мотивы, но и делала его уязвимым перед любой фальшью.

Поэтому старший ван Хелтен понимал: если он начнет расспрашивать прямо, это будет не разговор, а психологическая дуэль. Говард, воспитанный на разговорах о механизмах сознания и природе тревожности, отлично парировал любые вопросы. Он умел защищаться словами, выстраивать логические заслоны, прятать боль за безупречными аргументами. И если отец ошибется в формулировке, сын просто вежливо, почти ласково, укажет на ошибку и уйдет от ответа.

Отец помолчал еще мгновение, будто перебирая в памяти не слова, а целые миры, в которых эти слова когда-то жили. Он знал: если пойти напролом, Говард тут же выстроит оборону – вежливо, логично, безупречно. В его голове всегда шел бесконечный анализ: каждое слово отца раскладывалось на возможные смыслы, каждый вопрос – на десятки вариантов ответов, каждый тон голоса – на скрытые намерения. Для Говарда разговор был не обменом мыслями, а шахматной партией, где он заранее просчитывал ходы противника.

Но Виктор решил сделать ход, к которому сознание сына, скорее всего, не было готово. Не потому что он был хитрее, а потому что шел не от логики, а от тишины и уязвимости. Такой поворот в расчетах Говарда либо вообще не значился, либо был отброшен как маловероятный. Именно этот принятый сознанием подростка непросчитанный сценарий мог пробить броню.

Виктор чуть наклонил голову, будто прислушиваясь не к сыну, а к себе самому, и тихо, почти про себя, произнес:

– Знаешь, когда мне было лет семнадцать, я тоже думал, что если все правильно выстроить – слова, паузы, взгляды, – то можно заставить мир пойти по твоему сценарию. Я был уверен: достаточно подобрать верные фразы, и она поймет, что я тот самый.

Говард едва заметно вздрогнул, но не обернулся. Только пальцы крепче сжали чашку, так что побелели костяшки.

– Ее звали Марта, – продолжил Виктор, не глядя на сына, будто рассказывал не ему, а дождю за окном. – Я тогда жил в другом городе, в доме поменьше, без гравюр и старых книг. И я думал, что любовь – это задача, которую можно решить, если не ошибаться. Я репетировал фразы перед зеркалом, считал, сколько секунд нужно выдержать паузу, чтобы не показаться навязчивым, и одновременно не дать ей забыть о себе. Я думал, что контроль – это и есть забота.

Он сделал короткую паузу, вспоминая не столько саму Марту, сколько то отчаяние, с которым пытался удержать ускользающее чувство.

– А потом я понял одну вещь, которая тогда казалась мне почти предательством по отношению к собственным стараниям: нельзя заставить другого человека чувствовать то, чего он не чувствует. И никакие идеальные слова тут не помогут. Это было... тяжело. Как будто ты стоишь на сцене, говоришь все точно по тексту, а зал молчит.

В комнате стало тихо, только напольные часы мерно отсчитывали секунды, и дождь продолжал шептать что-то свое по стеклу.

– Я тогда долго не мог с этим смириться, – тихо добавил Виктор. – Думал, что проблема во мне: я что-то не так сказал, не вовремя посмотрел, не так улыбнулся. И только спустя годы понял, что дело не в ошибках. Дело в том, что не все истории заканчиваются так, как мы хотим. И не все чувства можно заслужить.

Говард наконец чуть повернул голову, но все еще не смотрел прямо на отца – его взгляд скользил по темному дереву шкафа, по тусклому отблеску бронзы, по любой точке, которая не была лицом Виктора. Но в этом полуобороте уже было что-то новое – не защита, а ожидание.

– И что ты сделал потом? – спросил он почти шепотом, будто боялся спугнуть этот непривычный, честный тон разговора.

– Ничего особенного, – спокойно ответил Виктор. – Просто перестал пытаться все контролировать. Позволил себе быть неидеальным. И знаешь, что самое странное? Когда я перестал стараться быть тем, кем, как мне казалось, я должен быть для нее, дышать стало легче. Не потому, что она вдруг меня полюбила, а потому что я перестал ломать себя ради чужой тишины.

Он чуть склонил голову, глядя на сына внимательно, но без нажима.

– Это не значит, что боль исчезает. Просто она перестает быть топливом для бесконечных расчетов. Ты ведь именно это сейчас делаешь, правда? Прокручиваешь в голове все возможные варианты, ищешь, где ты ошибся, что можно было сказать иначе...

Говард медленно опустил взгляд на свою чашку, будто искал в темной поверхности кофе ответ, который не решался произнести вслух. Его плечи, до этого напряженные, будто слегка опустились, но не от слабости, а от того, что часть тяжести наконец нашла опору.

– Ее зовут Эмили Мур, – произнес он, и голос его звучал непривычно ломко, как будто слова царапали горло. – Мы сидим в классе через два ряда друг от друга. Иногда она смеется над чьей-то шуткой, и я ловлю себя на том, что пытаюсь понять: это просто смех, или она на кого-то смотрит, или... в общем, я не знаю. Она на меня не смотрит. Вообще. Как будто меня там нет. А я каждый день придумываю, как сделать так, чтобы она заметила.

Он замолчал, будто сам испугался того, что позволил себе сказать.

– И каждый раз, когда я думаю, что вот сейчас я скажу что-то правильное, я тут же представляю, как это может пойти не так. Десять разных вариантов, сто... Я даже не успеваю начать, потому что уже вижу, как все разваливается.

Виктор не стал кивать, не стал сразу отвечать с утешением. Он просто посидел еще немного в тишине, позволяя этим словам занять свое место в комнате, не пытаясь их тут же исправить или сгладить.

– Знаешь, – наконец тихо сказал он, – иногда самое смелое, что можно сделать, – это не просчитать все варианты, а просто сказать: «Мне важно, что ты рядом». Без плана. Без стратегии. Просто правда. Даже если она ничего не изменит. Потому что ты имеешь право быть услышанным, даже если ответ будет не тем, на который ты надеялся.

Говард снова посмотрел в окно, где дождь все так же размывал огни города, превращая их в тусклые пятна. Но теперь в этом сером свете было что-то менее враждебное – не обещание счастья, а признание того, что мир не обязан быть удобным.

– Но ведь легче ничего не говорить, – почти шепотом произнес он.

– Да, – спокойно согласился Виктор. – Легче. Но не свободнее. И не честнее по отношению к себе.

И в этой тишине, наполненной дождем, старым деревом и тяжелым, но необходимым признанием, между ними наконец установилось что-то хрупкое и настоящее – не решение проблемы, а право на нее. Право чувствовать и не прятать это за безупречными расчетами.

Говард больше ничего не сказал. Не из-за недоверия – просто он вдруг почувствовал, что слова, которые еще минуту назад казались необходимыми, теперь стали слишком тяжелыми, чтобы их произносить. Они будто цеплялись за ребра, не желая выходить наружу, и он решил оставить их при себе – пусть лежат там, где им сейчас спокойнее.

Виктор это понял. Не по какой-то особой догадке, а по тому, как сын снова повернулся к окну, как его пальцы чуть расслабились на чашке, как в этом молчании не было напряжения – только тихая усталость человека, который наконец позволил себе не защищаться. Профессор не стал подталкивать, не стал искать новые обходные пути к правде. Он просто остался сидеть в своем кресле, в теплом круге света от желтой лампы, и дал этой тишине стать чем-то надежным – не пустотой, а пространством, где можно дышать.

Дождь за окном постепенно слабел. Он уже не хлестал по стеклам, а тихо шуршал, словно сам город наконец выдохнул и решил немного притихнуть. Капли стекали медленнее, будто не торопились никуда, и в этой неспешности было что-то успокаивающее. Огни Мергельбурга, прежде размытые и тусклые, теперь проступали четче, отражаясь в мокром асфальте, как робкие искры надежды.

Виктор снял очки, положил их на столик рядом с книгой, и на секунду прикрыл глаза, будто давая и себе право на эту тишину.

Говард стоял у окна, и его отражение в стекле казалось чуть менее острым, менее напряженным. Он не смотрел на отца, но чувствовал его присутствие – не как давление, а как опору, которая не требует ничего взамен. И в этом тоже была своя форма доверия: не вывалить все сразу, а просто позволить кому-то знать, что тебе непросто, и не требовать, чтобы тебя тут же «починили».

– Если когда-нибудь захочешь рассказать еще, – тихо, почти шепотом, сказал Виктор, не открывая глаз, – я буду здесь. А если не захочешь – тоже буду здесь.

Говард едва заметно кивнул, не оборачиваясь. Этого хватило.

За окном город медленно просыпался от дождя. Небо чуть посветлело, и серая пелена начала распадаться на отдельные слои – более светлые, почти жемчужные. Где-то далеко проехала машина, и ее фары на мгновение прорезали влажный сумрак, оставив после себя лишь короткий след света.

И когда этот свет погас, Говард наконец отошел от окна. Он поставил чашку на подоконник, провел ладонью по холодному стеклу, будто стирая с него последние капли, и тихо сел на край дивана – не слишком близко к отцу, но и не на другом конце комнаты. Просто рядом.

Они сидели так какое-то время – в тишине, которую не нужно было ничем заполнять. А потом Виктор взял книгу, открыл ее на той самой странице, будто возвращаясь к чему-то давно знакомому, и начал читать вслух – негромко, размеренно, так, как читают, когда хотят не столько рассказать историю, сколько создать вокруг нее защитный круг. И Говард слушал, не вдумываясь в каждое слово, а скорее в сам ритм отцовского голоса – ровный, спокойный, будто обещавший: что бы ни случилось завтра, сегодня здесь все в порядке.

ГЛАВА 1

**Не стремись, чтобы все происходило так, как ты хочешь; желай,
чтобы все происходило так, как оно происходит, - и будет тебе хорошо**
Эпиктет

Мергельбургское утро не спешило становиться добрее. Ветер все так же гнал по тротуарам сухие листья, швырял в лица прохожих колючие брызги вчерашнего дождя и будто нарочно старался сделать каждый шаг тяжелее. Осень окончательно вступила в свои права, и город казался еще более серым, но теперь в этой серости не было той глухой безысходности, что давила вчера. Это была просто осень – жесткая, откровенная, не склонная к утешениям. Говард плотнее запахнул пальто, чувствуя, как ткань цепляется за плечи, словно пытается удержать его на месте. В кармане он нащупал маленький сложенный листок – на нем он накануне набросал несколько фраз, которые хотел сказать Эмили. Теперь он казался не поддержкой, а тяжелым грузом: чем ближе подходил Говард к школе, тем громче в голове звучал голос, убеждающий его, что все эти фразы – глупость, нелепость, неуклюжесть и удар лицом в грязь.

Мимо проносились прохожие, кутаясь в шарфы и пряча лица от ветра. Кто-то спешил, кто-то брел медленно, будто сам не знал, куда идет. Город жил своей обычной жизнью, равнодушной и в то же время странно заботливой: он не обещал чудес, но позволял каждому идти своим путем.

У школьных ворот Говард остановился на секунду, глубоко вдохнул холодный воздух, словно набираясь смелости не для великого подвига, а для простого, человеческого шага. И когда он вошел во двор, где уже толпились ученики, смех и крики звучали не как насмешка, а как обычный шум жизни – беспорядочный, живой, не поддающийся никаким расчетам. Среди этой суеты, чуть в стороне от шумной группы старшеклассников, стояла Эмили. Одна. На секунду весь мир будто сузился до этой точки – до ее силуэта, до того, как ветер пытался расчесать ее волосы, но они, густые, вьющиеся, чуть ниже плеч, упрямо ложились мягкими волнами, будто знали, что им положено быть именно такими.

Брюнетка, чьи волосы в тусклом утреннем свете казались не просто темными – в них прятались десятки оттенков: от глубокого шоколадного до почти черного, с тонкими серебряными нитями от ветра. Голубые глаза, яркие, как осколки зимнего неба, смотрели куда-то вперед, будто она пыталась разглядеть в сером дне что-то свое, понятное только ей. Спортивная, подтянутая фигура была не нарочитой, а естественной – будто она просто привыкла быть в движении, привыкла, что тело – это инструмент, а не витрина. Ее руки были прекрасны, аккуратный маникюр, ни одной лишней детали – но в этом не было холодности; напротив, эта собранность делала ее живой, настоящей.

В глазах Говарда она выглядела не как недостижимая статуя, а как человек, в котором уместилось сразу все: сила и уязвимость, уверенность и легкая растерянность, которую она тут же прятала, будто стыдилась ее. Он смотрел на нее и вдруг понял, что не хочет просчитывать варианты. Не хочет думать о том, как она может ответить, как посмотрит, что сделает. Он просто хотел увидеть ее такой – настоящей, без фильтров тревоги.

«Сейчас, – подумал он, сжимая пальцами край кармана, где лежал листок. – Сейчас я подойду. Спрошу, как началось ее утро. Спрошу про выпускной проект. Хоть что-нибудь. Просто чтобы услышать ее голос».

Но прежде чем он успел сделать шаг, рядом возник Тайлер.

– Говард! Стой, куда летишь? – Тайлер хлопнул его по плечу, чуть слишком энергично, как делал всегда, когда хотел поделиться чем-то срочным. – Ты вообще в курсе, что вчера случилось?

Говард вздрогнул, выныривая из своего оцепенения. Тайлер был такого же роста, как и он – около ста семидесяти сантиметров, – среднего телосложения, с аккуратно уложенными каштановыми волосами: челка падала на правый бок, а с левой стороны был идеальный пробор, будто он полчаса стоял перед зеркалом, чтобы добиться этой небрежной точности. В его глазах горел тот самый азарт, с которым он собирал школьные сплетни, как другие собирают марки.

– Ну, представь, – продолжал Тайлер, не дожидаясь ответа. – Крис и Джейк пошли вчера к старому складу за парком – ты знаешь, тот, который все обходят стороной. Говорят, так кто-то устраивает подпольные гонки на велосипедах, но это не точно. В общем, они решили, что это их шанс стать «теми самыми ребятами». Залезли, а там – охранник, да не простой, а бывший военный, по слухам. Крис, конечно, сразу начал что-то лепетать про «мы просто посмотреть», а Джейк вообще попытался сделать вид, что он тут случайно оказался и вообще шел мимо за хлебом. Охранник на них посмотрел так, будто видел насквозь, и говорит: «Если вы тут просто посмотреть, то почему у вас фонари в руках и перчатки, как у взломщиков?» В итоге их заставили убирать мусор вокруг склада до полуночи. А сегодня в школе уже все знают, и Крис теперь всем говорит, что это была «добровольная общественная инициатива».

Тайлер расхохотался, явно наслаждаясь каждой деталью этой истории, и ждал, что Говард тоже улыбнется, подхватит шутку, вступит в привычный обмен репликами. И Говард действительно улыбнулся – но улыбка вышла натянутой, как плохо пришитая пуговица. Он кивал в нужных местах, вставлял «да ладно» и «не может быть», но взгляд его снова и снова ускользал к Эмили, которая все еще стояла одна, будто мир вокруг нее на секунду замер.

– И в итоге, знаешь, что он сказал? – Тайлер подался вперед, понизив голос до заговорщицкого шепота. – Охранник им на прощание бросил: «В следующий раз, если снова сюда придете, хотя бы легенду нормальную придумайте. А то ‘шли за хлебом’ – это уже даже не смешно».

Говард хотел рассмеяться, хотел сказать что-то остроумное, как раньше, но слова застряли где-то между горлом и языком. Вместо этого он вдруг почувствовал, как сильно сжимает в руке ручку дипломата, будто тот был якорем, удерживающим его от того, чтобы просто развернуться и пойти к Эмили.

– Слушай, – он выдохнул, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, без спешки, без обиды на самого себя за то, что снова откладывает важный шаг. – Прости, мне правда надо идти. Я сейчас... немного не здесь. Но я с радостью дослушаю все это позже, честно.

Тайлер на секунду замер, будто не сразу понял, что его история не получила ожидаемого отклика. Потом кивнул, чуть нахмурившись, но тут же снова расслабился – он умел не обижаться надолго.

– Ладно. Но не думай, что отвертись. После уроков расскажешь, куда ты так торопишься, – он подмигнул и, махнув рукой, растворился в толпе, унося с собой часть привычного шума, который всегда кружился вокруг него.

Как только Тайлер скрылся из виду, Говард снова повернулся к тому месту, где стояла Эмили. Но теперь она уже не была одна. Вокруг нее собралась небольшая группа друзей и подруг: кто-то что-то рассказывал, размахивая руками, кто-то смеялся, а она сама слегка наклонила голову, и на губах ее играла та самая улыбка – легкая, искренняя, будто она действительно радовалась этой болтовне, этим мелочам, этим обычным школьным мгновениям.

На мгновение Говард застыл. Он сделал пару шагов вперед, почти не осознавая этого, и просто смотрел на нее – на то, как свет ложится на ее волосы, как в голубых глазах мелькают искорки смеха, как она двигается, будто не замечает своей красоты, будто это просто часть ее, такая же естественная, как дыхание. И в этот момент он вдруг понял: она прекрасна не

потому, что идеальна, а потому, что настоящая. В ней не было ничего придуманного, ничего рассчитанного – только жизнь, шумная, яркая, не желающая подчиняться никаким сценариям.

Он еще секунду держал этот образ в себе, позволяя ему согреть изнутри, а потом медленно повернул влево, крепче сжимая ручку дипломата. Пальцами другой руки он машинально поправил пальто, будто этот жест мог вернуть ему хоть каплю собранности. И пошел вперед – не к ней, не сейчас, но и не прочь от нее. Просто дальше, туда, где день уже ждал его со всеми своими неожиданностями, не поддающимися никаким расчетам.

Пара уроков пронеслись мимо Говарда почти незаметно – будто он присутствовал в классе лишь телом, а мыслями витал где-то далеко. На геометрии учитель чертил на доске углы и треугольники, выводил формулы, но для Говарда это были не фигуры, а схемы: он мысленно выстраивал идеальную траекторию, по которой мог бы подойти к Эмили, просчитывал точки пересечения их маршрутов по коридорам, подбирал моменты, когда она остается одна. Каждая линия становилась шагом к разговору, каждый угол – возможным препятствием, которое нужно обойти. На географии все было еще дальше от реальности. Учитель рассказывал о климате, столицах и горных хребтах, а влюбленный юноша видел не карты и атласы, а их с Эмили путешествия. Вот они идут по узким брусчатым улочкам старого Брюсселя – между домами с остроконечными крышами, где ветер приносит запах свежей выпечки из маленькой пекарни на углу; вот стоят на берегу Средиземного моря у скал Амальфи, и соленый ветер смешивает ее выющиеся волосы с солнечными бликами на воде; вот едут на поезде через зеленые холмы Тосканы, а за окном проплывают ряды кипарисов и виноградники, залитые золотистым светом. Каждая страна превращалась в место их будущего отпуска, каждая река – в дорогу, по которой они могли бы идти рядом. Он ловил себя на том, что машинально записывает названия городов – Брюссель, Неаполь, Флоренция, – будто составляет маршрут, и тут же стирает их, чувствуя нелепость этих фантазий.

Во время большого перерыва Говард сел за столик в школьной столовой — за тем самым, у окна, откуда была видна часть школьного двора. Ему подали привычный для конца 80-х школьный обед: тарелку с картофельным пюре, поверх которого лежала котлета в золотистой панировке, рядом – несколько ломтиков соленого огурца и кусочек черного хлеба. В кружке был теплый какао – не слишком сладкий, с легкой пенкой на поверхности. Говард ел почти механически, не ощущая вкуса, время от времени помешивал ложкой какао, будто надеялся найти в темной жидкости какой-то ответ.

Столовая гудела привычными звуками: звон посуды, обрывки разговоров, чей-то смех, скрип стульев. Но для Говарда этот шум будто отдалился, стал фоном, на котором громче звучали его собственные мысли. Он смотрел в окно, где по асфальту бежали ручейки от утреннего дождя, и снова прокручивал в голове фразы с того самого листка, пытаясь подобрать к ним интонацию, которая не сделала бы их смешными или жалкими.

В какой-то момент он почувствовал на себе чей-то взгляд – теплый, настойчивый, но не давящий. Подняв глаза, он увидел Сюзан. Она тихонько присела напротив, сложив руки на краю стола, и смотрела на него своими большими зелеными глазами – внимательно, терпеливо, так, будто готова была сидеть так хоть весь перерыв, пока он наконец не заметит ее.

Сюзан была невысокой, хрупкой, с мягкими чертами лица и непослушной прядью светлых волос, вечно выбивавшейся из косы. В ней не было ни капли той напряженной собранности, что жила в Говарде, – она казалась легче, будто умела не цепляться за тревоги, а позволять им проплывать мимо. Но при всей этой внешней легкости она была невероятно чуткой: замечала все – как брат сжимает пальцы, как отводит взгляд, как помешивает ложкой какао не по кругу, а резкими нервными движениями. Для нее эти мелочи были как слова, только честнее.

– Ты опять думаешь о чем-то таком, что никому не рассказываешь, – тихо сказала она, чуть наклонив голову, будто прислушивалась не к словам, а к тому, что прячется за ними. – Я вижу. Ты сидишь так, будто держишь на плечах весь мир, а он тебе не по размеру.

Говард слабо улыбнулся – не потому, что стало легче, а потому, что рядом с Сьюзан даже тяжесть казалась чуть менее колючей.

– Просто день такой, – попытался он отмахнуться, но голос выдал его: в нем не было уверенности, только усталость.

– День как день, – спокойно возразила Сьюзан, не споря, а просто называя вещи своими именами. – А вот ты в нем какой-то не такой. Не такой, как обычно, когда ты просто злишься или устал. Ты будто боишься сделать шаг, а потом боишься, что не сделаешь.

Она помолчала, потом осторожно подвинула к нему блюдо с маленьким песочным печеньем – его любимым.

– Если не хочешь рассказывать – не надо. Я просто посижу тут. Или можем вообще про что угодно: про уроки, про дурацкие сплетни Тайлера, про то, какой странный сегодня какао. Или вообще ни про что. Но если вдруг захочешь, чтобы кто-то просто выслушал... я тут. И я не буду говорить «да брось» или «все не так плохо». Я просто послушаю.

В ее словах не было давления, только тихая, надежная доброта – та самая, которая не требует ничего взамен и потому действует сильнее любых убеждений.

Говард посмотрел на сестру, на ее внимательные зеленые глаза, на это печенье, будто она пыталась подкрепить свои слова чем-то осязаемым, и вдруг почувствовал, как внутри что-то чуть-чуть расправляется, сбрасывая часть напряжения.

– Спасибо, – тихо сказал он, и это «спасибо» было не за печенье, а за то, что она не стала лезть в самое больное, а просто протянула руку туда, где было темно.

Он взял печенье, откусил кусочек, и на этот раз вкус вдруг стал настоящим – сладким, рассыпчатым, простым. И на одну короткую секунду весь этот бесконечный расчет вариантов, все эти маршруты и сценарии, все попытки все продумать и ничего не упустить – все это отступило, оставив место для чего-то маленького, но настоящего: для сестры, для печенья, для тихого разговора, который не обязан никуда вести.

Сьюзан и правда сумела на минуту выдернуть Говарда из водоворота его мыслей – так ловко, будто просто взяла и выключила шум. Он вдруг заметил, как пахнет в столовой: не только едой, но еще старым деревом, мелом из классов, чуть пыльно и по-домашнему. Услышал, как кто-то за соседним столом хихикнул, как звякнула ложка, как скрипнул стул. И на эту самую минуту ему стало легче – будто тяжесть, которую он таскал с утра, вдруг стала чуть легче, не исчезла, но хотя бы перестала давить на плечи.

Он смотрел на Сьюзан и думал, что в ее внимательных зеленых глазах нет ни осуждения, ни желания «починить» его, ни даже любопытства, которое ранит. Только тихое «я тут». И от этого становилось спокойно. Он невероятно ценил эту ее искренность – она была той самой опорой, которая не хвастается надежностью, а просто стоит рядом, даже когда все рушится.

Говарду хотелось рассказать ей все: про Эмили, про листок в кармане, про то, как он каждую фразу репетирует по десять раз и все равно боится, что скажет не то. Но он сдерживался. Он понимал: она не даст ему ответа на те вопросы, которые грызли изнутри. Ему не хотелось перекладывать на нее это замешательство, не хотел, чтобы его тревога стала и ее тревогой тоже. Пусть хоть у кого-то день будет простым.

Но поговорить с ней хотелось. Просто чтобы слышать ее голос, чтобы чувствовать, что мир не состоит только из бесконечных расчетов.

– Вижу, Тайлер и тебя успел посвятить в историю Криса и Джейка, – улыбнулся он, стараясь, чтобы улыбка не получилась натянутой, а настоящей.

Сьюзан фыркнула, закатив глаза, и в этом жесте было столько сестринской иронии, что Говард невольно улыбнулся шире.

– Да он мне это еще на перемене между первым и вторым уроком рассказал. Причем так, будто это главная новость века. Я даже пыталась делать вид, что слушаю, но в какой-то момент поняла, что если еще раз услышу слово «подпольные гонки», я засну прямо на парте.

– А я вот не смог даже толком притвориться, что мне интересно, – признался Говард, чуть понизив голос. – Все время пытался смотреть мимо него, туда, где... Кхм, – он отвел взгляд в сторону, будто пытаясь мгновенно свернуть от сказанного. – Где стоял Гарри.

Сьюзан заметила этот маневр: брат явно не хотел говорить о том, куда именно он смотрел и речь точно была не о Гарри О'Ниле. Она просто кивнула, будто поняла без слов: «Да, иногда чужое веселье звучит как белый шум, когда внутри все гудит от чего-то своего».

Они еще немного пообсуждали эту нелепую историю – не всерьез, а так, чтобы просто говорить, чтобы не оставлять тишину, которая могла снова дать дорогу тревожным мыслям. Сьюзан смешно передразнивала интонацию Тайлера, когда тот шептал про «легенду нормальную придумайте», и Говард рассмеялся – впервые за день искренне, без усилия.

И в этот момент он заметил, как она вдруг замерла, а потом чуть изменила тон голоса — он стал тише, мягче, будто она пыталась звучать как обычно, но не получалось. Сьюзан отвела взгляд, и как раз в ту сторону, мимо их столика, прошел парень. Говард видел его только со спины, но этого хватило, чтобы уловить уверенность в походке: он шел так, будто точно знал, куда и зачем, будто весь мир был для него не лабиринтом, а прямой дорогой. Плечи расправлены, шаг уверенный, ни капли суеты.

В ту же секунду пальцы Сьюзан начали нервно перебирать друг друга, ногти едва заметно цеплялись, будто искали, за что удержаться. Она будто пыталась спрятать эту дрожь, сделать вид, что все нормально, но для Говарда, который привык замечать мелочи, это было как крик, только очень тихий.

Через пару секунд она снова посмотрела на брата, будто возвращаясь из другого мира, и поспешно прервала неловкую паузу:

– Так... на чем мы остановились? На том, что Тайлер слишком много болтает? Или на том, что Крис и Джейк – самые невезучие люди на свете?

Говард чуть ухмыльнулся, но не стал нападать с расспросами. Не хотел, чтобы она чувствовала себя пойманной. Вместо этого он мягко подыграл:

– Думаю, на том, что Тайлер – лучший рассказчик в мире, если не слушать содержание, а только интонации.

Сьюзан выдохнула – Говард заметил это по тому, как чуть опустились ее плечи, – и благородно улыбнулась, будто он только что незаметно протянул ей руку и помог не упасть.

А в следующую секунду к их столику подседа Ванесса – одноклассница Сьюзан. Она ворвалась в их тихий уголок так, будто принесла с собой кусочек солнца: яркая, энергичная, с той самой улыбкой, которая будто обещала, что день не может быть совсем плохим. На ней была клетчатая юбка, свитер с высоким горлом и яркий шарф, который, казалось, жил своей жизнью – то и дело сползал, и она тут же поправляла его, смеясь над собственной неловкостью.

– Привет, мои хорошие! – воскликнула Ванесса, плюхаясь на скамейку так, будто они сидели не в школьной столовой, а на пикнике в парке. – Вы тут такие серьезные, будто обсуждаете судьбу вселенной, а не школьный обед. Что происходит? Или, лучше скажите, что тут происходит без меня? Я чувствую, что пропустила что-то важное!

Ее голос был звонким, заразительным, в нем не было ни капли фальши – только искреннее желание быть частью всего, что происходит. Она тут же потянулась к кружке Говарда, притворилась, что хочет отпить, но тут же отдернула руку, хихикнув:

– Шучу! Твой какао – святое. Но если у тебя есть еще одно печенье, я готова за него продать душу. Или хотя бы рассказать самую свежую сплетню – на выбор.

Она щелкнула пальцами, будто пытаясь поймать мысль, и тут же выпалила:

– Кстати, слышали? В пятницу в актовом зале будет репетиция рождественского концерта, и мистер Харрис хочет, чтобы старшеклассники помогали с декорациями. Я уже записалась. Если пойдете со мной, будет не так страшно таскать эти коробки. Ну, или хотя бы будете меня подбадривать.

Ванесса говорила быстро, но не раздражающе – скорее так, будто боялась, что если остановится, то весь этот заряд энергии просто рассеется. И, что самое удивительное, она действительно меняла атмосферу: с ее появлением тишина стала хрупкой, а напряжение – тяжелым. Теперь это была просто пауза между репликами, а не бездна, в которую можно упасть.

Сюзан рассмеялась, качая головой, но в ее смехе слышалось облегчение – она будто тоже была рада, что теперь не нужно держать разговор только вдвоем, что можно немного спрятаться за этой веселой болтовней.

– Ванесса, ты как ураган, – сказала она, улыбаясь. – Только в хорошем смысле.

– Ураган с печеньем и хорошими намерениями, – подмигнула Ванесса и повернулась к Говарду, будто только сейчас по-настоящему его заметила. – А ты чего такой тихий? Не пугайся, я не кусаюсь. Просто когда я молчу, мне кажется, что мир останавливается, а я этого не люблю.

Говард поймал себя на том, что улыбается – и на этот раз улыбка не была попыткой казаться нормальным. Она появилась сама, будто в ответ на эту живую шумную искренность.

Звонок грянул резко, будто обрубил разговор посреди фразы. Ванесса вздрогнула, тут же вскочила, схватила Сюзан под руку и потянула за собой, тараторя на ходу:

– Ну все, все, бежим, а то миссис Кларк опять скажет, что я «нарушаю дисциплину своим опозданием», хотя это она нарушает мой душевный покой своими взглядами! Ты со мной? Или опять будешь делать вид, что ты ангел, который никогда не опаздывает?

Сюзан, уже поднимаясь, успела только на секунду провести ладонью по плечу Говарда – легкое, почти невесомое касание, в котором уместилось все ее «хочу остаться еще хоть на минуту». Она улыбнулась ему быстро, виновато, будто извинялась за эту спешку мира, и тут же исчезла в потоке учеников, унесенная энергичным вихрем Ванессы.

Вокруг все пришло в движение: стулья скрипели по полу, кто-то ронял тетрадь, кто-то звал друга через весь зал, кто-то смеялся, не слыша собственного голоса в этом шуме. Коридоры уже начинали наполняться гулом шагов, и столовая, еще минуту назад казавшаяся островком тишины, превратилась в перекресток спешащих жизней – каждый торопился к своему уроку, к своей маленькой драме, к своему собственному способу не утонуть в дне.

Говард неторопливо сложил салфетку, вытер рот, собрал посуду на поднос и пошел к мойке. По дороге он на секунду задержался, вдохнул этот собственный запах столовой – теплого хлеба, вареной картошки и чуть терпкого мыла, – словно хотел удержать в себе эту минуту покоя, прежде чем снова окунуться в школьный водоворот.

У раковины стояла Клара — полная женщина с добрыми, чуть усталыми глазами и руками, загрубевшими от горячей воды и щеток. Она всегда улыбалась так, будто эта улыбка была ее личным способом не дать себе утонуть в рутине. Рядом с ней хлопотала молодая помощница Лина – только второй месяц работала, все еще суетилась, будто боялась что-то сделать не так.

– А вот и ты, Говард, – сказала она, едва заметно кивая, и в ее голосе не было ни упрека, ни суеты – только привычное, теплое признание его присутствия. – Как всегда, сам все отнесишь. Не то что некоторые: оставят тарелки, будто мы тут не люди, а уборщики их личных бед, – обернувшись на Лину, продолжила. – Помню, как он пришел впервые. Одиннадцать лет назад... такой маленький, глаза большие, карие, хлопает ими, будто весь мир его пугает, а сам старается держаться прямо, будто ему не страшно. Принесет в своих маленьких рученьках поднос с посудой, поблагодарит так тепло, будто я ему жизнь спасла. Я тогда еще подумала: ну вот, есть же дети, которые понимают, что вежливость – это не про «так надо», а про «я вижу тебя».

Лина улыбнулась, чуть склонив голову, и тихо ответила:

– Приятно, когда такое видишь. Среди всей этой суеты... будто маленький лучик.

Говард стоял, чуть опустив взгляд, и на губах у него играла скромная улыбка – не от гордости, а скорее от неловкой теплоты, которая разливалась где-то под ребрами. Ему было

приятно, но он не хотел, чтобы из него делали героя. Для него это было просто правильным: не оставлять после себя беспорядок, не проходить мимо тех, кто каждый день делает твою жизнь чуть удобнее.

Он подошел ближе и, поставив поднос на стойку, тихо, но твердо произнес:

– Спасибо вам. За то, что делаете все это каждый день. За обеды, за чистоту, за то, что даже когда все вокруг торопятся и шумят, у вас тут все равно как-то... по-человечески. Я это ценю. Правда.

Клара на секунду замерла – будто эти слова упали ей прямо в ладони и она не знала, куда их положить, чтобы не уронить. Потом медленно кивнула, и в ее глазах мелькнуло что-то такое, что бывает, когда кто-то наконец-то замечает не только твою работу, но и тебя саму.

– Спасибо, Говард, – тихо сказала она, чуть сжимая тряпку в руке, будто эта привычная вещь вдруг стала для нее якорем. – Иногда просто услышать такое... оно как чашка горячего чая в холодный день. Согревает.

Лина тоже улыбнулась, чуть покраснела и пробормотала:

– Да... спасибо. Это приятно.

Говард еще раз кивнул, будто хотел закрепить эти слова, сделать их настоящими, а потом повернулся к выходу из столовой. На пороге он на секунду остановился, будто хотел еще что-то добавить, но не нашел нужных слов — и просто еще раз чуть заметно улыбнулся в сторону мойки, где Клара уже взялась за дело, но теперь в ее движениях было чуть больше легкости, а в голосе, когда она что-то тихо сказала Лине, звучала тихая благодарность.

«У каждого своя река, – подумал он, шагая по коридору в сторону кабинета художественных искусств. – И у каждой – свое течение, свои пороги, свои тихие заводи, где можно ненадолго спрятаться. И никто не знает, сколько сил нужно, чтобы просто держаться на плаву».

Он шел, и эти мысли не давали, а скорее поддерживали, как перила на крутой лестнице. Он знал, что каждый человек просыпается утром с каким-то грузом – кто-то боится контрольной, кто-то – разговора, кто-то просто боится, что день опять будет серым и пустым. И почти каждому кажется, что именно его проблемы – самые тяжелые, а чужие – пустяки, потому что их не видно. Но он, как и Сьюзан, старался замечать эту невидимую тяжесть. Старался не проходить мимо, не делать вид, что не видит.

Ему всегда вспоминались мамины слова, сказанные как-то вечером, когда он жаловался, что люди вокруг «не такие, как надо»:

– Не важно, знаешь ты человека лично или это просто какой-то незнакомец. Будь вежлив и добр. Ты никогда не можешь знать, что человек испытал утром или вчерашним вечером, какие мысли терзают его сознание, из-за которых он еле сдерживается, чтобы не опустить руки и не заплакать. Иногда одно доброе слово – это спасательный круг, который ты бросаешь, даже не зная, что кто-то тонет.

И он старался бросать эти круги. Не ради похвалы, не ради того, чтобы казаться хорошим, а потому что верил: если ты видишь, что кому-то тяжело, самое малое, что ты можешь сделать, – не добавит ему тяжести.

Дверь кабинета художественных искусств была приоткрыта, изнутри не доносилось привычного шума – ни споров о красках, ни смеха, ни шуршания бумаги. Говард замер, будто прислушивался к странной тишине, а потом шагнул внутрь. В кабинете никого не оказалось, кроме пожилого преподавателя – мистера Финча. Он был невысоким, с сединой, густо поседевшей виски, и большими залысинами, от которых лоб казался особенно высоким, почти мудрым. Глубокие морщины на его лице складывались в сложный узор: они то смягчались, когда он улыбался, то становились резкими, когда взгляд его делался строгим. Карие глаза мистера Финча умели быть и теплыми, и пронзительными – будто он одновременно и понимал тебя, и проверял, достоин ли ты этого понимания.

– Добрый день, мистер Финч, – тихо поздоровался Говард, чувствуя, как в этой непривычной тишине его голос звучит чуть громче, чем хотелось бы.

Мистер Финч оторвал взгляд от стопки эскизов, слегка приподнял брови, будто удивился, что кто-то все-таки пришел, и кивнул:

– Здравствуй, Говард. Рад видеть хотя бы одного парня, который не променял краски на сцену.

Говард чуть нахмурился, не понимая:

– А где все остальные?

– Мистер Харрис отпросил желающих помочь с подготовкой рождественского концерта. И, представь себе, желающих оказалось столько, что в зале теперь не протолкнуться. Так что кабинет рисования сегодня – почти личный храм для избранных. Или для тех, кто просто не захотел таскать коробки.

Он произнес это без осуждения, скорее с легкой иронией, и Говард вдруг почувствовал, как внутри шевельнулось что-то похожее на благодарность: мистер Финч не делал из его присутствия подвига, но и не считал его странным.

Кабинет был устроен необычно: он делился на несколько отдельных «уголков», огражденных друг от друга полками, уставленными лучшими работами школьников за все восемьдесят девять лет существования школы. Здесь стояли гипсовые головы, вазы, старые натюрморты, потемневшие от времени, но все еще гордые своим местом в истории. Такая планировка была задумана специально: чтобы ученики не отвлекались друг на друга, чтобы каждый оставался наедине с холстом и своими мыслями.

Говард прошел к своему месту – в секцию номер два. Здесь все было привычно: мольберт, на котором еще с прошлого урока остался незаконченный пейзаж, коробка с кистями, баночки с красками, слегка покрытые пылью, будто даже они знали, что вдохновение приходит не каждый день. Он аккуратно расставил все, установил холст, провел пальцами по шероховатой поверхности – и на мгновение замер, прислушиваясь к себе.

Мистер Финч наблюдал за ним со своего места у окна. Потом негромко произнес:

– Знаешь, я не люблю, когда ученики приходят сюда только потому, что некуда деться. Мне куда неприятнее смотреть, как они попусту тратят краски, рисуя что-нибудь без всякого желания создать нечто, чем видеть их отсутствие. В одиннадцатом классе и правда есть вещи куда важнее. Но ты... ты будто приходишь не от безысходности. Ты приходишь, чтобы говорить с холстом.

Говард слегка пожал плечами, не зная, как ответить на такую точность слов.

– Просто... мне здесь спокойнее.

Мистер Финч чуть наклонил голову, будто примерял эту фразу, как примеряют шляпу – чтобы понять, идет ли она.

– Спокойнее. Да. Но посмотри на свою работу.

Он подошел ближе, не вторгаясь в личное пространство Говарда, а скорее становясь рядом, как равный. Долго смотрел на холст, где серые тона перетекали друг в друга, образуя город, которого не было ни на одной карте: туманные улицы, пустые скамейки, фонари, свет которых будто не мог разогнать темноту.

– Она серая. Не просто сдержанная – именно серая. И это не первая твоя картина в таком духе. Скажи, ты видишь мир таким? Или просто боишься добавить цвет, потому что придется поверить, что он существует?

Говард невольно сжал кисть. Ему хотелось возразить, сказать, что это просто стиль, что он ищет настроение, но слова застряли посередине между горлом и правдой.

– Мир не так уж и плох, – мягко сказал мистер Финч, будто не спорил, а предлагал Говарду попробовать эту мысль на вкус.

– Не так плох... – Говард на секунду запнулся, а потом твердо добавил: – Но и не так хорош, как хочется думать. Иногда кажется, что хорошее – это просто редкие просветы между тучами. Они есть, но их мало, и они быстро исчезают.

Мистер Финч не стал спорить, лишь чуть склонил голову:

– Значит, ты их замечаешь. Эти просветы. Это уже немало. Кто-то вообще не видит неба, пока идет под дождем.

– Я их вижу, – признал Говард. – Но от этого не легче. Потому что знаешь: они ненадолго. И потом снова будет серо.

– А может, в этом и есть суть? Не ждать, пока тучи уйдут, а учиться замечать свет, пока он есть. Даже если он слабый. Даже если его почти не видно.

– Но разве это честно? – в голосе Говарда прозвучала усталость, которую он не мог скрыть. – Делать вид, что все хорошо, когда это не так?

– Никто не просит делать вид. Я прошу лишь не позволять темноте заслонять весь горизонт. Цвет не обязан быть ярким, чтобы быть настоящим. Иногда достаточно одной тонкой линии, одного едва заметного оттенка, чтобы весь холст вдруг стал светлее. Не нужно закрашивать тьму. Нужно просто дать ей понять, что рядом есть свет. Даже если он тихий.

Говард помолчал, глядя на свою серую картину, будто впервые видел ее целиком.

– А если я не умею его находить? – тихо спросил он.

– Ты уже находишь. Иначе не замечал бы, что вокруг серо. Видеть тень – значит знать, что где-то есть свет. Просто пока что ты смотришь не туда.

Говард посмотрел на свой холст – и вдруг словно шагнул внутрь этой серой картины, прошел по ее улицам, где тревога и страхи витали в воздухе, как густой туман. Ставни на домах были плотно закрыты, будто жители боялись впустить в свои дома не только холод, но и чужой взгляд, чужое слово, чужую надежду. Казалось, дом прятал за этими ставнями свою маленькую, но тяжелую правду.

Мистер Финч, стоявший чуть поодаль, взглянул на задумавшегося юношу – и взгляд его стал мягче, в нем проступило то самое сочувствие, которое не кричит, а шепчет: «Я вижу, как тебе непросто». Ему хотелось утешительно похлопать Говарда по плечу, сказать что-то простое и сильное: «Ты обязательно справишься. Ты еще обретишь свои краски». Он даже чуть приподнял руку, но тут же опустил ее, спрятал за спину, будто решил, что сейчас слова или жест будут слишком громкими для этой тишины. Развернувшись, он тихо вернулся к своему столу, оставив Говарда наедине с его холстом и мыслями.

Говард хотел добавить яркости в картину, но не знал, как это сделать так, чтобы все получилось идеально. Ему казалось, что если он ошибется с оттенком, если линия выйдет слишком резкой или, наоборот, слишком робкой, то разрушится хрупкое равновесие его мира. И, глядя на этот город, ставший зеркалом его души, он вдруг подумал: жизнь человека – такой же мольберт. На нем каждый день ложится новый мазок: чей-то взгляд, случайное слово, воспоминание, надежда, страх. Кто-то рисует яркими, смелыми красками, не боясь разводов и пятен. Кто-то осторожно кладет едва заметные штрихи, будто боится занять слишком много места. А кто-то, как он сейчас, видит все в оттенках серого и не решается выйти за эти границы.

В этот момент из приоткрытой двери донесся женский голос – негромкий, но настойчивый:

– Мистер Финч, вас просят зайти в учительскую. Срочно.

Финч на секунду замер, будто хотел еще что-то сказать, но лишь коротко кивнул, бросил на Говарда теплый, понимающий взгляд и поспешно вышел, прикрыв за собой дверь. Его отсутствие не сделало комнату пустой – напротив, оно словно дало Говарду пространство, чтобы дышать чуть свободнее, чтобы сосредоточиться не только на рисовании, но и на своих мыслях.

И он задумался – на этот раз о самой философии жизни. Глядя на свой серый город, он спрашивал себя: если его мир сейчас такой приглушенный, значит, у кого-то он, навер-

ное, слишком яркий. Как тот человек себя чувствует? С какой мыслью просыпается по утрам? Замечает ли он все те мелочи, которые Говард привык подмечать для себя в каждом человеке и в каждом новом дне. Или наоборот он настолько окружен светом, что не видит теней и потому не понимает, каково это – стоять в полумраке и пытаться разглядеть хоть один теплый отблеск?

Время текло незаметно. Полтора часа занятия подходили к концу, а Говард все стоял перед мольбертом, будто боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть эти мысли. Его мольберт стоял у окна, и время от времени он поглядывал на небо, где серые, почти черные осенние тучи бежали одна за другой, будто торопились куда-то, неся с собой холод и сырость. Он словно черпал из них настроение для своего города – из их тяжести, из их молчаливой усталости.

Но вдруг этот сплошной поток начал прерываться. Между тучами появились узкие про-светы, и из-за них осторожно выглянуло солнце. Его свет был не ярким, не ослепительным – скорее робким, будто он сам не был уверен, стоит ли показываться в такой хмурый день. Но он был. И он немножко согревал.

Ощущая немного солнечного тепла, Говард глянул на часы – и будто только сейчас по-настоящему понял, что время для его серого города и вправду подошло к концу. Он начал убирать краски, аккуратно вымывать кисточки, стараясь не повредить ворс, споласкивать палитру до тех пор, пока вода не перестала отдавать смесью оттенков, и складывать все принадлежно-сти в подписанный ящик шкафа – «Г. ван Хелтен». Буквы были выведены его собственной рукой еще в начале года, и теперь эта аккуратная надпись будто подтверждала: здесь его место, его уголок, его право быть здесь, даже если он не такой, как все.

Пока он суетился, неуклюже поправляя рубашку после того, как снял чуть запачкав-шийся фартук, за его спиной раздался тихий женский и милый голос:

– Твоя картина темнее, чем казалось.

Голос будто и старался не спугнуть, но все равно прозвучал резко, как случайный аккорд посреди тишины. От неожиданности Говард вздрогнул и выронил из рук чашечку с раствори-телем и пустую баночку из-под краски. Они глухо стукнулись о пол, но не разбились – будто даже мир сегодня решил его побережь.

Эмили стояла в полосе солнечного света, который пробивался сквозь окно и ложился на пол теплыми прямоугольниками. Она мило щурилась – солнце било прямо в глаза, и она чуть наклонила голову, будто пыталась разглядеть его сквозь этот золотой занавес. Солнечные лучи будто играли в ее волосах, выплетая из темно-русой волны тонкие золотые нити. Легкая прядь выбилась и мягко легла на щеку – и Говарду вдруг захотелось протянуть руку и заправить ее за ухо, но он лишь крепче сжал пальцы, удерживая себя на месте. В ее чертах не было строгой, холодной красоты – все было живым: чуть вздернутый маленький аккуратный нос, линия губ, которая то складывалась в виноватую улыбку, то становилась серьезной, когда она смотрела на картину. В обеих ладонях, опустив руки перед собой, она держала дипломат – не как груз, а как щит, как привычную опору, которая помогала ей держаться уверенно даже в самых неловких ситуациях. Она заметила его испуг – и не смогла сдержать легкую улыбку. Не насмешливую, а теплую, почти виноватую: ей и самой было забавно, что она так его напугала, и неловко за это одновременно.

Он застыл, залился краской, чувствуя, как внутри все сжимается от неловкости.

Эмили сделала пару шагов вперед, хотела наклониться, чтобы помочь собрать принад-лежности, но ее остановил Говард, сказав:

– Нет-нет, не стоит, я сам! – чуть ли не отталкивая воздух между ними, будто хотел удержать ее на безопасном расстоянии, чтобы не наделать еще больше глупостей.

Она остановилась, снова извинилась:

– Прости, я не хотела... Прости, что напугала.

А он, уже торопливо подбирая упущенные вещи, вдруг выпалил, сам не зная откуда взя-лись эти слова:

– Да нет, разве такая радость может кого-то напугать? Я просто не ожидал...

И тут же внутри себя застонал: «Дурак, будь увереннее! Зачем ты это сказал? Что она подумает? Скажи что-нибудь нормальное!» Он улыбался ей, смотрел, будто она была не обычной девушкой, а каким-то чудом, спустившимся прямо в этот пыльный кабинет, и ее улыбка буквально растапливала все его напряжение, прогоняла прочь привычные сомнения.

– Знаешь, я все это время рисовала в секции номер три, – тихо призналась Эмили, слегка опуская взгляд, будто ей тоже было немного неловко. – И... случайно подслушала ваш разговор с мистером Финчем. Не специально, просто... там такая акустика и голоса разносятся.

В этот момент в голове у Говарда будто щелкнуло: «Черт, она все это время была чуть ли не в метре от меня!» Ему вдруг стало жарко не от смущения, а от осознания, что все его мысли, все слова, даже тишина между фразами – все это она слышала. И не ушла. Осталась. И теперь стояла здесь, смотрела на него без осуждения, а скорее с интересом – будто он был загадкой, которую ей хотелось разгадать.

– Мне стало интересно, о какой картине шла речь, – продолжила она, чуть склонив голову, и в ее голосе не было любопытства зеваки, а было настоящее, тихое желание понять. – Я все занятие рисовала в голове этот бесцветный пейзаж и спрашивала себя: неужели он действительно такой серый, что даже мистер Финч уделил ему столько внимания?

Она на секунду замолчала, а потом, будто решившись, подняла на него глаза:

– Ты не против, если я подойду ближе? Хочу посмотреть.

Говард кивал так энергично, что сам удивился своей поспешности:

– Да. Да... Да! Конечно! – и тут же чуть отступил в сторону, освобождая ей путь к холсту, будто уступал дорогу чему-то важному.

Эмили подошла и встала перед картиной. Она смотрела не мельком, не из вежливости, а так, словно действительно шла по этим серым улицам, заглядывала в темные окна, шурилась, пытаясь разглядеть что-нибудь во тьме переулка. Говард не отрывал от нее взгляда, пытался угадать, что именно цепляет ее внимание, какой штрих кажется ей важным, какой угол – значимым. Ему хотелось объяснить, рассказать, почему он положил именно эту тень, почему оставил этот угол пустым, но слова застревали где-то в горле, не желая выстраиваться в понятные фразы.

Наконец Эмили чуть наклонила голову и тихо сказала:

– Тут столько тишины... Не мертвой, а такой... уставшей. Как будто город долго что-то переживал и теперь просто сел на край скамейки и молчит. Но при этом... видишь эти тонкие линии? – она осторожно, не касаясь холста, провела пальцем в воздухе вдоль серебристых штрихов. – Они как будто говорят: «Я все еще здесь. Я не исчез».

Говард кивнул, будто эти слова сняли с него тяжесть, которую он носил и не замечал.

– Да, – тихо согласился он. – Я пытался... не закрасить тьму, а просто показать, что свет тоже есть. Даже если его мало.

Эмили еще немного постояла перед картиной, потом повернулась к нему, и в ее взгляде было не восхищение и не жалость, а что-то гораздо ценнее – понимание. В этот момент Говард посмотрел в ее голубые глаза – и будто увидел целую карту чувств, аккуратно вычерченную невидимыми линиями. В них не было ни фальши, ни желания казаться кем-то другим: там была искренность, легкая тревога, любопытство и тепло, которое не кричало, а тихо согревало. И в этом взгляде он вдруг нашел ответы на множество вопросов, что терзали его изнутри: не про картину, не про мир, а про то, можно ли быть уязвимым и при этом не казаться слабым; можно ли показывать тень и все равно оставаться светлым; можно ли просто стоять рядом и уже этим помогать.

– Знаешь, – сказала она, чуть улыбнувшись, – мне кажется, это и есть самое честное искусство. Не притворяться, что тьмы нет. А показывать, что даже в ней можно найти маленький свет.

Говард выдохнул, и напряжение, которое сжимало его плечи весь день, наконец-то начало отпускать.

– Спасибо, – тихо сказал он, не глядя на картину, а глядя прямо на нее. – Иногда кажется, что если ты видишь тень, значит, ты просто заиклился на плохом.

– А может, ты просто не боишься ее назвать, – спокойно ответила Эмили. – И от этого она перестает быть такой страшной.

На секунду в кабинете снова стало тихо, но теперь эта тишина была другой – не пустой, а наполненной чем-то важным.

Потом Эмили чуть приподняла свой дипломат, будто хотела напомнить, что мир за пределами этого уголка все еще существует и чего-то от них ждет.

– Перемена будет небольшой, – сказала она, чуть нахмурившись, словно сама жалела, что приходится возвращаться к расписанию и урокам. – Нам нужно как можно быстрее двигаться на последний урок – в кабинет биологии. Иначе миссис Кроули выпустит на нас весь свой гнев.

Говард на секунду задержал взгляд на ее лице, стараясь сохранить в памяти каждую деталь: как свет ложится на ее волосы, как в голубых глазах мелькает легкая тревога перед уроком, как она чуть крепче сжимает ручку дипломата, будто это ее маленький якорь в бурном школьном дне.

– Ладно, – тихо сказал он, и в этом «ладно» было не равнодушие, а готовность идти рядом, даже если впереди не холст и не тихий кабинет, а шумный кабинет и строгий учитель. – Пойдем. Только... спасибо. Спасибо за то, что посмотрела. За то, что увидела не просто серый цвет.

Эмили улыбнулась – на этот раз чуть шире, будто в ее груди тоже что-то тихо расправилось, как сложенный лист бумаги, который наконец-то развернули.

– Тогда пойдем, – сказала она, чуть кивнув в сторону двери.

Они вышли из кабинета вместе. Говард на долю секунды задержался на пороге, бросил последний взгляд на мольберт, на свой холст, на полки с работами, на стол мистера Финча, где все было на своих местах. И понял, что порядок – это не только расставленные баночки и вымытые кисти. Это еще и умение вовремя отложить кисть, чтобы пойти рядом с кем-то, кто освещает дорогу не яркими прожекторами, а просто теплым, спокойным светом.

Школьный коридор обрушился на них привычной суетой: кто-то бежал, громко топая, кто-то спорил у расписания, кто-то смеялся так звонко, что звук будто отскакивал от стен. Говард, привыкая к этому шуму после тишины художественного класса, шел рядом с Эмили, стараясь не слишком явно смотреть на нее, но все равно ловя каждый ее жест. Они ускорили шаг, огибая группу ребят, которые спорили, чья очередь стоять у кулера, и почти свернули за угол, где коридор сужался и вел прямо к крылу с естественно-научными кабинетами. И тут из-за поворота неожиданно появился мистер Финч. Он шел быстро, но не суетливо, с папкой под мышкой и тем самым выражением лица, которое говорило: «У меня есть дело, и я его сделаю», – но при этом успевал замечать все вокруг.

Они едва не столкнулись. Эмили резко остановилась, прижав дипломат к себе, а Говард инстинктивно шагнул вперед, будто хотел заслонить ее от случайного столкновения, хотя в этом не было нужды.

– Ой! Простите, мистер Финч! – быстро выпалила Эмили, и в ее голосе прозвучала та искренняя неловкость, которая всегда звучит честнее любых оправданий.

Мистер Финч замер, чуть наклонил голову, и на его лице мелькнула легкая улыбка – не широкая, а такая, которую носят люди, умеющие ценить маленькие совпадения.

– Ничего, ничего, – спокойно сказал он, чуть приподняв папку, словно этим жестом хотел показать, что он не спешит настолько, чтобы не найти секунду для них. – Спешите на биологию? Миссис Кроули не любит, когда ее урок начинают с извинений.

Эмили кивнула, чуть покраснев:

– Да, мы как раз... торопимся.

Мистер Финч перевел взгляд на Говарда. В этом взгляде было тихое понимание, будто он уже знал всю историю, которая приключилась с его серым городом. В тот момент он понял все и на все вопросы, заданные ранее, он нашел ответ в его глазах.

– Хорошо, – тихо сказал он, и в этом «хорошо» было больше смысла, чем в длинных речах. – Иногда самое важное – не успеть все, а успеть вовремя сделать шаг.

Он чуть кивнул, будто подтверждая собственные слова, и пошел дальше по коридору, оставив их стоять на этом перекрестке.

Говард смотрел ему вслед, чувствуя, как внутри что-то тихо встает на месте. Ему вдруг стало ясно: мистер Финч все видел и все понял. Не только про картину, но и про него самого – про то, как тяжело бывает держать в себе этот серый мир и как много мужества нужно, чтобы позволить в нем появиться хоть одной светлой линии. И то, что учитель не стал говорить об этом вслух, а просто кивнул им на ходу, показалось Говарду самым большим одобрением, какое он мог получить.

– Пойдем, – тихо сказала Эмили, мягко коснувшись его локтя – совсем на секунду, едва ощутимо, но этого хватило, чтобы вернуть его в коридор, в суету, в реальность. – А то у нас осталось чуть больше минуты.

Урок биологии и правда пролетел быстрее всех остальных. Миссис Кроули с привычной строгостью рассказывала про строение клетки, шелкала указкой по доске и время от времени обводила класс взглядом, будто проверяя, не прячется ли где-то хаос, готовый нарушить ее идеальный порядок. Но для Говарда ее голос звучал словно сквозь вату – он слышал интонации, отдельные слова, но смысл ускользал.

Он то и дело бросал взгляд в сторону Эмили, но каждый раз будто опаздывал: она сидела чуть впереди и левее, склонив голову над тетрадью, и он никак не мог поймать тот самый угол, чтобы увидеть ее лицо целиком. Ему было бесконечно интересно понять, каким он кажется в ее глазах. Два года совместной учебы – с тех самых пор, как она перевелась к ним в восьмом классе, – и они ни разу толком не поговорили. Все это время он считал ее недоступной, недостижимой, будто она жила в каком-то другом измерении, где все было светлее, чище и правильнее, чем в его.

Еще сильнее его мучил один вопрос, который теперь казался почти обидным в своей упущенности: как выглядит ее картина? Он не мог простить ни себе, ни расписанию, ни тому злосчастному дефициту времени, что так и не спросил про ее работу. В голове сами собой всплывали обрывки: секция номер три, приглушенный свет, тишина, в которой разносятся чужие голоса... Что она рисовала все это время, пока он пытался укротить свой серый город?

Мысленно он уже перескакивал в четверг, на второй урок рисования. В голове стремительно разворачивался целый сценарий: он зайдет спокойно, без суеты, поздоровается так, чтобы это прозвучало уверенно, но не напыщенно. Потом как бы между делом спросит про ее картину – не с напором, а с искренним интересом, будто ему действительно важно знать. Он заранее подбирал интонацию, примерял фразы, отбрасывал те, что звучали слишком вычурно или, наоборот, слишком робко.

«Нет, лучше так: 'Знаешь, я все думаю про твою работу... Интересно, что ты там создаешь'. Или нет. Слишком много «я». Надо проще. 'Что у тебя сейчас на мольберте?' – вот так. Просто. По-человечески. Хотя... Нет».

Говард начал проживать в голове целую отдельную жизнь – с десятками вариантов того, как все может пойти. Он хотел предусмотреть все: не уронить принадлежности, не запнуться на полуслове, не выглядеть испуганным, будто мир снова навалился на него всей своей тяжестью. Ему хотелось рассчитать все на два, три, четыре шага вперед, чтобы в тот момент, когда она снова посмотрит на него своими голубыми глазами, он смог просто быть собой – без суеты, без паники, без этой бесконечной попытки все контролировать.

Но время урока было сочтено. Едва прозвенел звонок, как класс мгновенно взорвался движением: парты закрипели, стулья загрохотали, голоса слились в единый гул, и все ринулись к выходу, будто боялись, что дверь вот-вот закроется. Кто-то на ходу застегивал пуговицы на куртке, кто-то торопливо закидывал тетради в потрепанный портфель, кто-то спорил, кому выходить первым. Говард на мгновение замер, пытаясь выхватить взглядом Эмили, но ее уже унес этот вихрь – она мелькнула где-то впереди, на мгновение показалась между чужими спинами, сжимая свой дипломат, а потом исчезла в потоке ребят, спешащих по своим делам. Он остался стоять у своей парты, чувствуя, как реальность снова нагоняет его, и понимая, что все его идеально продуманные диалоги, все эти «два, три, четыре шага вперед» сейчас ничего не стоят. Жизнь не давала репетиций. Она просто шла своим чередом, не спрашивая, готов ли он.

Выйдя в коридор, Говард в моменте почти отчаялся, вглядываясь в толпу в поисках Эмили. Коридор был длинным, с высокими окнами, сквозь которые лился тусклый осенний свет. Стены были выкрашены в бледно-зеленый цвет, местами облупившийся, а вдоль них стояли старые деревянные скамьи с металлическими ножками. Школа уже жила своей обычной жизнью: кто-то смеялся, кто-то ругался, кто-то торопился, а кто-то просто стоял, как он, и пытался поймать ускользнувший момент. Говард бегло окинул свой внешний вид взглядом, поправил темно-серое пальто, проверил, ровно ли лежит воротник, не сбился ли узел галстука, не торчит ли из кармана уголок скомканного листа – ему как никогда было важно, чтобы ничто не портило этот его аккуратный, собранный вид, будто правильная складка на рукаве могла хоть немного уравновесить ту неловкость, которая сжимала грудь.

«Не бывает столько случайностей, – пронеслось у него в голове. – То, что она подошла, то, что заговорила, то, что увидела в моей картине... Это не просто так. И я не могу это потерять в этой толпе».

Он вглядывался в лица, надеясь снова заметить ее темные волосы, легкую прядь, падающую на щеку, ее чуть прищуренный взгляд. И вдруг среди этого шума ему почудился ее голос: – Говард!

Он обернулся. В его воображении Эмили стояла чуть в стороне, у окна, и махала ему, стараясь привлечь внимание. В ее глазах было что-то такое, что сразу смыло всю эту внутреннюю суету: не ожидание идеального сценария, не страх сказать что-то не то, а простое, живое «ты здесь, я вижу тебя».

– Подожди! – крикнула она, пробиваясь через поток ребят, и наконец подошла, чуть запыхавшись, но с той самой улыбкой, которая делала все вокруг чуть светлее. Я думала, ты не заметишь. Тут такой хаос, будто все разом решили, что перемена – это гонка на выживание.

Говард неловко улыбался, но на этот раз не ругал себя за эту неловкость. Пусть будет. Пусть она видит его таким – немного растерянным, немного спешащим, немного слишком старающимся все предусмотреть.

– Я... да, немного замешкался, – признавался он, не пытаясь казаться кем-то другим. – Все думал... хотел спросить...

Эмили чуть наклоняла голову, будто прислушивалась не только к словам, но и к тому, что за ними прячется.

– О чем?

И тут все заготовленные фразы рассыпались, как карточный домик от легкого дуновения. И вместо них приходило что-то настоящее.

– Хотел спросить про твою картину, – просто говорил он, глядя ей прямо в глаза. – Про ту, что в секции номер три. Я так и не увидел. И мне... очень хочется.

Эмили улыбалась – не широко, а так, будто его слова легли на что-то внутри нее, давно ждавшее именно этого.

– Тогда приходи в четверг пораньше, – тихо говорила она, чуть понизив голос, будто делилась секретом. – До начала урока. Я ее еще не убирала. Покажу.

На секунду Говарду казалось, что весь этот школьный шум, вся эта суета вдруг обрели смысл. Потому что впереди был не просто урок. Впереди был момент, который не нужно было просчитывать. Его нужно было просто прожить.

– Хорошо, – тихо отвечал он, чувствуя, как внутри что-то тихо, но уверенно встает на место. – Я приду.

Но тут образ Эмили стал расплывчатым, он слышал, как кто-то продолжает его звать, еще настойчивее, еще громче.

– Говард! Говард, совсем оглох?

Он вздрогнул и обернулся. Перед ним стояла Бэлла, его одноклассница, с привычной легкой строгостью во взгляде и стопкой распечаток в руках – листы были чуть помяты, а края неровно обрезаны: их печатали на школьной машинке, а потом копировали в учительской на старом ксероксе, который вечно пачкал бумагу серыми пятнами.

– Не забудь завтра принести свою часть работы для коллективного проекта по биологии. Ты помнишь свою тему? Этические аспекты использования биотехнологий, если забыл. Мы и так отстаем, а миссис Кроули уже косо смотрит. Если ты не сдашь вовремя, нам всем придется несдобровать, сам понимаешь.

Говард растерянно покивал, чувствуя, как реальность обрушивается на него всей своей будничной тяжестью.

– Да, конечно. Прости... я просто... задумался.

Бэлла вздохнула, будто привыкла к тому, что Говард вечно где-то не здесь, и чуть подтолкнула стопку бумаг, чтобы они не рассыпались.

– Главное, чтобы ты не забыл. У нас и так все висит на волоске.

Она кивнула ему и тут же растворилась в потоке школьников, спешащих по своим делам.

А Говард снова окинул взглядом то самое окно – то место, у которого в его фантазии стояла Эмили, махала ему, улыбалась. Но там была не она. Там толпились другие школьники. А в том самом уголке, который в его воображении будто был отведен специально для нее, была пустота.

Он почувствовал легкое, но горькое разочарование – такое, какое бывает, когда ты так ясно видел что-то важное, а оно оказалось лишь игрой света и теней. Судьба, похоже, решила иначе.

Он поправил пальто еще раз, будто этот маленький, привычный жест мог вернуть ему хоть каплю уверенности, и медленно пошел по коридору, среди шума и суеты, которая больше не казалась ему враждебной – просто была частью мира. Мира, где иногда самые важные разговоры еще только ждут своего часа.

Говард шел по тротуару, и под подошвами его туфель шуршали желтые листья – они устилали дорожку, словно кто-то рассыпал по асфальту сухие золотые монеты. Вдоль тротуара тянулся невысокий белый штакетник – аккуратный, чуть поскрипывающий на ветру, будто тихо напевал старую мелодию пригорода. За ним виднелся их дом – большой, двухэтажный, с темно-синей входной дверью и латунной ручкой, которая тускло поблескивала даже в этом сером октябрьском свете. Чуть правее стоял гараж – такой же основательный и привычный, как все вокруг в этом районе, где проживала семья ван Хелтенов.

Перед домом еще пару месяцев назад красовался ярко-зеленый газон, за которым отец так старательно ухаживал: каждую субботу он выводил газонокосилку, будто это был его маленький ритуал порядка в мире, где многое шло не по плану. Теперь же газон был усыпан листьями, и в этом было что-то грустное и одновременно правильное – осень брала свое, и сопротивляться ей казалось бессмысленным. Почтовый ящик у калитки был пуст, и от этого тоже веяло какой-то тишиной: ни счетов, ни писем, ни маленьких знаков того, что мир о тебе помнит.

Говард толкнул дверь и вошел в прихожую. Внутри пахло чем-то домашним – легким ароматом корицы, старым деревом и чуть-чуть – свежeweымытым полом. Он снял пальто, аккуратно повесил его на крючок. Потом медленно прошел вдоль прихожей, бросая короткие взгляды в каждую комнату. Слева виднелась гостиная: на кресле лежала вязаная шаль, на столике стояла стопка журналов, а на стенке висели фотографии в простых деревянных рамках – на одной из них Говард был еще совсем мальчишкой, на другой – Сьюзан в первом классе, смеющаяся, с двумя косичками. Лестница на второй этаж уходила вверх, слегка поскрипывая, и где-то наверху, в тишине, можно было почти услышать, как дом дышит.

Из кухни доносился тихий гул: там что-то шипело на плите, позвякивали тарелки, и слышался мамин голос – быстрый, легкий, будто она разговаривала не сама с собой, а с целым миром сразу.

– Мам, привет, – тихо сказал Говард, заглядывая на кухню.

Элизабет ван Хелтен стояла у плиты, слегка наклонившись, чтобы заглянуть в сковороду. Ее волосы были убраны в аккуратную гульку, но с каждого виска выбивались по паре мягких локонов, которые завивались и падали на щеки – точно так же, как у Эмили. От этой случайной схожести у Говарда на секунду екнуло сердце, и он поспешил отвести взгляд, будто мама могла прочитать эту мысль по его глазам.

– Привет, моя хмурая тучка! Как школа? Рассказывай, что нового? – она обернулась, улыбнулась, и в этой улыбке было столько тепла, что даже все его внутренние метания на мгновение притихли.

– Да так... все нормально. Сидели сегодня втроем со Сьюзан и Ванессой, немного поболтали. Ванесса опять рассказывала про свои идеи насчет школьной постановки. А Тайлер опять распускал какие-то сплетни, но ничего серьезного.

Он говорил это спокойно, подбирая самые нейтральные слова, стараясь не выдать, что на самом деле его голова была забита совсем другим. Ему не хотелось рассказывать про Эмили, про тот выдуманный разговор, про пустоту у окна, которая теперь казалась ему почти осязаемой. Ему просто хотелось посидеть здесь, в этой кухне, где все было понятно и привычно, и почувствовать, что он дома.

– Понятно, – кивнула мама, помешивая что-то в сковороде. – Знаешь, Тайлер сегодня заходил. Просил передать, что будет ждать тебя в закусочной «У Джимми» в половину пятого.

Говард машинально глянул на часы – без пятинадцати четыре. Он чуть нахмурился, пытаясь понять, зачем Тайлеру вдруг понадобилось встретиться посреди недели. Обычно они виделись по выходным, когда можно было не думать о домашних заданиях, о проектах, о подготовке к выпускным экзаменам.

– Странно... – пробормотал он. – Обычно мы не договариваемся вот так, посреди недели. Мама чуть пожала плечами, будто в этом не было ничего особенного:

– Может, у него что-то случилось. Или просто захотелось поболтать. Ты ешь, не стой. Я тут приготовила запеканку, она еще теплая.

Он кивнул, сел за стол, положил себе немного еды, но почти не чувствовал вкуса. Мысли снова и снова возвращались к Тайлеру, к встрече, к тому, что за этим может стоять. Но еще чаще они возвращались к Эмили – к ее темным волосам, к ее улыбке, к ее голубым глазам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.